

ТЮРЕМНАЯ ИСПОВЕДЬ (DE PROFUNDIS¹)

Epistola: in carcere et uinculis²

Тюрьма Ее Величества, Рединг

Дорогой Бози!³

После долгого и бесплодного ожидания я решил написать тебе сам, и ради тебя, и ради меня: не хочу вспоминать, что за два долгих года, проведенных в заключении*, я не получил от тебя ни одной строчки, до меня не доходили ни послания, ни вести о тебе, кроме тех, что причиняли мне боль.

Наша злополучная и несчастная дружба* кончилась для меня гибелью и позором, но все же во мне часто пробуждается память о нашей прежней привязанности, и мне грустно даже подумать, что когда-нибудь ненависть, горечь и презрение займут в моем сердце место, принадлежавшее некогда любви; да и сам

¹ Из глубины (*лат.*).

² Послание: в тюрьме и оковах (*лат.*).

³ Здесь и далее звездочки указывают на примечания в конце книги.

ты, я думаю, сердцем поймешь, что лучше было бы написать мне сюда, в мое тюремное одиночество, чем без разрешения публиковать мои письма или без спросу посвящать мне стихи*, хотя мир ничего не узнает о том, в каких выражениях, полных горя или страсти, раскаяния или равнодушия, тебе вздумается отвечать мне или взывать ко мне.

Нет сомнения, что мое письмо, где мне придется писать о твоей и моей жизни, о прошлом и будущем, о радостях, принесших горе, и о горестях, которые, быть может, принесут отраду, — глубоко уязвит твое тщеславие. Если так, то читай и перечитывай это письмо до тех пор, пока оно окончательно не убьет в тебе это тщеславие. Если же ты найдешь в нем какие-нибудь упреки, на твой взгляд незаслуженные, то вспомни, что надо быть благодарным за то, что есть еще провинности, в которых обвинять человека несправедливо. И если хоть одна строка вызовет у тебя слезы — плачь, как плачем мы в тюрьме, где день предназначен для слез не меньше, чем ночь. Это единственное, что может спасти тебя. Но если ты снова бросишься жаловаться к своей матери*, как жаловался на то, что я с презрением отозвался о тебе в письме к Робби*, просить, чтобы она снова убаюкала тебя льстивыми утешениями и вернула тебя

к прежнему высокомерию и самовлюбленности, ты погибнешь окончательно. Стоит тебе найти для себя хоть одно ложное оправдание, как ты сразу же найдешь еще сотню, и останешься в точности таким же, как и прежде. Неужели ты все еще утверждаешь, как писал в письме к Робби, будто я *«приписываю тебе недостойные намерения!»*. Увы! Да разве у тебя были хоть когда-нибудь в жизни какие-то намерения — у тебя были одни лишь прихоти. Намерение — это сознательное стремление. Ты скажешь, что *«был слишком молод»*, когда началась наша дружба? Твой недостаток был не в том, что ты слишком мало знал о жизни, а в том, что ты знал чересчур много. Ты давно оставил позади утреннюю зарю отрочества, его нежное цветение, чистый ясный свет, радость неведения и ожиданий. Быстрыми, торопливыми стопами бежал ты от Романтизма к Реализму. Тебя тянуло в сточную канаву, к обитающим там тварям. Это и стало источником тех неприятностей, из-за которых ты обратился за помощью ко мне, а я так неразумно, по разумному мнению света, из жалости, по доброте взялся тебе помочь. Ты должен дочитать это письмо до конца, хотя каждое слово может стать для тебя раскаленным железом или скальпелем в руках хирурга, от которого дымится или

кровоточит живая плоть. Помни, что всякого, кого люди считают глупцом, считают глупцом и боги. Тот, кто ничего не ведает ни о законах и откровениях Искусства, ни о причудах и развитии Мысли, не знает ни величавости латинского стиха, ни сладкогласной эллинской напевности, ни итальянской скульптуры или сонетов елизаветинцев, может обладать самой просветленной мудростью. Истинный глупец, кого высмеивают и клеймят боги, это тот, кто не познал самого себя. Я был таким слишком долго. Ты слишком долго был и остался таким. Пора с этим покончить. Не надо бояться. Самый большой порок — поверхностность. То, что понято, — оправдано. Помни также, что если тебе мучительно это читать, то мне еще мучительнее все это писать. Незримые Силы были очень добры к тебе. Они позволили тебе следить за причудливыми и трагическими ликами жизни, как следят за тенями в магическом кристалле. Голову Медузы, обращающую в камень живых людей, тебе было дано видеть лишь в зеркальной глади. Сам ты разгуливаешь на свободе среди цветов. У меня же отняли весь прекрасный мир, изменчивый и многоцветный.

Начну с того, что я жестоко виню себя. Сидя тут, в этой темной камере, в одежде узника, обесчещенный и разоренный, я виню только

себя. В тревоге лихорадочных ночей, полных тоски, в бесконечном однообразии дней, полных боли, я виню себя и только себя. Я виню себя в том, что позволил всецело овладеть моей жизнью неразумной дружбе — той дружбе, чьим основным содержанием никогда не было стремление создавать и созерцать прекрасное. С самого начала между нами пролегла слишком глубокая пропасть. Ты бездельничал в школе и хуже, чем бездельничал в университете. Ты не понимал, что художник, особенно такой художник, как я, — то есть тот, чей успех в работе зависит от постоянного развития его индивидуальности, — что такой художник требует для совершенствования своего искусства созвучия в мыслях, интеллектуальной атмосферы, покоя, тишины, уединения. Ты восхищался моими произведениями, когда они были закончены, ты наслаждался блистательными успехами моих премьер и блистательными банкетами после них, ты гордился, и вполне естественно, близкой дружбой с таким прославленным писателем, но ты совершенно не понимал, какие условия необходимы для того, чтобы создать произведение искусства. Я не прибегаю к риторическим преувеличениям, я ни одним словом не грешу против истины, напоминая тебе, что за все то время, что мы пробыли вместе, я не

написал ни единой строчки. В Торки, Горинге, в Лондоне или Флоренции — да где бы то ни было, — моя жизнь была абсолютно бесплодной и нетворческой*, пока ты был со мной рядом. К сожалению, должен сказать, что ты почти все время был рядом со мной.

Помню, как в сентябре 1893 года — выбираю один пример из многих — я снял квартиру исключительно для того, чтобы работать без помех, потому что я уже нарушил договор с Джоном Хейром*: я обещал написать для него пьесу, и он торопил меня. Целую неделю ты не появлялся. Мы — что совершенно естественно, — разошлись в оценке художественных достоинств твоего перевода «Саломеи», и ты ограничился тем, что посылал мне глупые письма по этому поводу. За эту неделю я написал и отделал до мелочей первый акт «Идеального мужа», в том виде, как его потом ставили на сцене. На следующей неделе ты вернулся, и мне пришлось фактически прекратить работу. Каждое утро, ровно в половине двенадцатого, я приезжал на Сен-Джеймс-сквер, чтобы иметь возможность думать и писать без помех, хотя семья моя была на редкость тихой и спокойной. Но я напрасно старался. В двенадцать часов подъезжал твой экипаж, и ты сидел до половины второго, болтая и куря бесчисленные сигареты, пока не подхо-

дило время везти тебя завтракать в «Кафе-Рояль» или в «Беркли». Ленч, с обычными «возлияниями», длился до половины четвертого. Ты уезжал на час в клуб. К чаю ты являлся снова и сидел, пока не наступало время одеваться к обеду. Ты обедал со мной либо в «Савойе», либо на Тайт-стрит. И расставались мы обычно далеко за полночь — полагалось завершить столь увлекательный день ужином у Виллиса. Так я жил все эти три месяца, изо дня в день, не считая тех четырех дней, когда ты уезжал за границу. И мне, разумеется, пришлось отправиться в Кале и доставить тебя домой. Для человека с моим характером и темпераментом это положение было и нелепым и трагическим.

Должен же ты хоть теперь все это понять? Неужели ты и сейчас не видишь, что твое неумение оставаться в одиночестве, твои настоячивые притязания и посягательства на чужое время и внимание всех и каждого, твоя абсолютная неспособность сосредоточиться на каких-либо мыслях, несчастливое стечение обстоятельств, — хотелось бы считать, что это именно так, — из-за которого ты до сих пор не приобрел «оксфордский дух» в области интеллекта, не стал человеком, который умеет изящно играть идеями; ты только и умеешь, что навязывать свои мнения, — притом все твои

интересы и вожделения влекли тебя к Жизни, а не к Искусству, всё это было столь же пагубным для твоего культурного развития, как и для моей творческой работы? Когда я сравниваю нашу дружбу с тобой и мою дружбу с еще более молодыми людьми, — с Джоном Греем и Пьером Луи*, мне становится стыдно. Моя настоящая, моя высшая жизнь — с ними и с такими, как они.

Я не стану сейчас говорить об ужасающих последствиях нашей с тобой дружбы. Я только думаю о том, какой она была, пока она еще длилась. Для моего интеллекта она была губительной. У тебя были начатки художественной натуры, но лишь в зародыше. Но я повстречал тебя либо слишком поздно, либо слишком рано, — сам не знаю, что вернее. Когда тебя не было, все у меня шло хорошо.

В начале декабря того же года, о котором я пишу, когда мне удалось убедить твою мать отправить тебя из Англии, я тут же снова собрал по кусочкам смятое и изорванное кружево моего воображения, взял свою жизнь в собственные руки и не только дописал оставшиеся три акта «Идеального мужа», но и задумал и почти закончил еще две совершенно несходные пьесы «Флорентийскую трагедию» и «La Sainte

Courtisane»^{1*}. Как вдруг, неожиданный и непрощенный, при обстоятельствах роковых, отнявших у меня всю радость, ты возвратился. Я уже не смог взяться за те два произведения, которые остались недоработанными. Невозможно было вернуть настроение, создавшее их. Теперь, опубликовав собственный сборник стихов, ты сможешь понять, что все, о чем я пишу, — чистая правда. Впрочем, поймешь ты или нет, все равно эта страшная правда угнездилась в самой сердцевине нашей дружбы. Твое присутствие было абсолютно губительным для моего Искусства, и я безоговорочно виню себя за то, что позволял тебе постоянно становиться между мной и моим творчеством. Ты ничего не желал знать, ничего не мог понять, ничего не умел оценить по достоинству. Да я и был не вправе ждать этого от тебя. Все твои интересы были сосредоточены на твоих пиршествах и твоих прихотях. Ты всегда хотел только развлекаться, только и гнался за всякими удовольствиями — и обычными и не совсем обычными. По своей натуре ты в них всегда нуждался или считал, что в данную минуту они тебе необходимы. Я должен был запретить тебе бывать у меня дома или в моем рабочем кабинете без особого

¹ Святая блудница (фр.).

приглашения. Я всецело беру на себя вину за эту слабость. Да это и была только слабость. Полчаса занятий Искусством всегда значили для меня больше, чем круглые сутки с тобой. В сущности, в любое время моей жизни ничто не имело ни малейшего значения по сравнению с Искусством. А для художника слабость не что иное, как преступление, особенно когда эта слабость парализует воображение.

И еще я виню себя за то, что я позволил тебе довести меня до полного и позорного разорения. Помню, как утром, в начале октября 1892 года, мы сидели с твоей матерью в уже пожелтевшем лесу, в Брэкнелле. В то время я еще мало знал о твоём истинном характере. Однажды я провел с тобой время от субботы до понедельника в Оксфорде. Потом ты десять дней жил у меня в Кромере, где играл в гольф. Разговор зашел о тебе, и твоя мать стала рассказывать мне о твоём характере. Она говорила о главных твоих недостатках — о твоём тщеславии и о том, что ты, как она выразилась, «безобразно относишься к деньгам». Ясно помню, как я тогда смеялся. Я не представлял себе, что твоё тщеславие приведет меня в тюрьму, а расточительность — к полному банкротству.

Я считал, что некоторая доля тщеславия украшает юношу, как изящный цветок в петлице; что же касается расточительности —

а мне показалось, что она говорила именно о расточительности, — то осмотрительностью и бережливостью ни я, ни мои предки никогда не отличались. Но не прошло и месяца с начала нашей дружбы, как я понял, что именно подразумевала твоя мать. Твое настойчивое желание вести безудержно роскошную жизнь, непрестанные требования денег, уверенность в том, что я должен платить за все твои развлечения, независимо от того, делил я их с тобой или нет, — все это привело меня через некоторое время к серьезным затруднениям, и, по мере того как ты все настойчивее захватывал мою жизнь, это безудержное расточительство становилось для меня все более докучным и однообразным, потому что деньги, в общем, тратились исключительно на еду, на вино и тому подобное. Временами приятно, когда стол алеет розами и вином, но ты ни в чем не знал удержу, вопреки всякой умеренности и хорошему вкусу. Ты требовал без учтивости и принимал без благодарности. Ты дошел до мысли, что имеешь право не только жить на мой счет, но и утопать в роскоши, к чему ты вовсе не привык, и от этого твоя алчность росла, и в конце концов, если ты проигрывался в прах в каком-нибудь алжирском казино, ты наутро телеграфировал мне в Лондон, чтобы

я перевел сумму твоего проигрыша на твой счет в банке, и больше об этом даже не вспоминал.

Если я тебе скажу, что с осени 1892 года до моего ареста я истратил на тебя более пяти тысяч фунтов наличными, не говоря о счетах, оплату которых мне пришлось брать на себя, то ты хоть отчасти поймешь, какую жизнь ты непременно желал вести. Тебе кажется, что я преувеличиваю? За день, который мы с тобой проводили в Лондоне, я обычно тратил на ленч, обед, развлечения, экипажи и прочее — от двенадцати до двадцати фунтов, что за неделю, соответственно, составляло от восьмидесяти до ста тридцати фунтов. За три месяца, что мы провели в Горинге, я истратил (включая и плату за квартиру) тысячу триста сорок фунтов. Шаг за шагом, вместе с судебным исполнителем, мне приходилось пересматривать все мелочи своей жизни. Это было ужасно. «Скромная жизнь и высокие мысли», конечно, были уже тогда идеалом, который ты ни во что не ставил, но такое мотовство унижало нас обоих. Вспоминаю один из самых очаровательных обедов с Робби, в маленьком ресторанчике в Сохо, — он нам обошелся примерно во столько же шиллингов, во сколько фунтов мне обошелся обед с тобой. После одного обеда с Робби я написал самый лучший из всех моих диалогов*. И тема, и на-

звание, и трактовка, и стиль — все пришло за общим столом, где обед стоил три с половиной франка. А после наших с тобой лукулловских обедов ничего не оставалось, кроме ощущения, что съедено и выпито слишком много. Мои уступки всем твоим требованиям только шли тебе во вред. Теперь ты это знаешь. Это делало тебя очень часто жадным, порою беззастенчивым и всегда — неблагодарным. Почти никогда я не испытывал ни радости, ни удовлетворения, угощая тебя таким обедом. Ты забывал — не скажу о светской вежливости и благодарности: эти фамильярности вносят неловкость в близкие отношения, — но ты совершенно пренебрегал и теплотой дружеского общения, прелестью душевной беседы, тем, что греки называли *τερπνόν καλόν*¹, забывал ту ласковую теплоту, которая делает жизнь милее, она, как музыка, аккомпанирует течению жизни, настраивает на определенный лад и своей мелодичностью смягчает неприветность или безмолвие вокруг нас. И хотя тебе может показаться странным, что человек в моем ужасающем положении еще пытается найти какую-то разницу между одним бесчестьем и другим, но мое банкротство, откровенно говоря, приобретает оттенок виль-

¹ Сладкая отрада (*древнегреч.*).